

*«В круг политико-философских размышлений французских писателей Россия вошла примерно с середины XVIII века... До определенного момента Россия воспринималась философами просветителями как место реализации их идей. Екатерина поддерживала подобное представление. Она и сама осознавала себя ученицей французской философии, многие ее политические шаги были продиктованы именно просветительскими взглядами» (О.И. Елисеева).*

Я выбрала цитату О.И. Елисеевой, потому что я читала ее монографию «Екатерина Великая» – наиболее известный труд историка, изданный в серии ЖЗЛ. В книге масштабно описан период правления, детально разобраны внутренние конфликты при дворе, а также причины сложных и драматических взаимоотношений Екатерины II с наследником престола Павлом Петровичем. Также Екатерина II тесно связана с французскими просветителями (Вольтер, Дидро, Монтескье) через концепцию «просвещенного абсолютизма». Она использовала их идеи для модернизации России и создания «Наказа», а философы продвигали её позитивный образ в Европе, видя в ней мудрую правительницу, да и идеи о секуляризации церковных земель, строительстве школ, развитии медицины и создании Вольного экономического общества были прямым следствием влияния французских трактатов. Также меня очень сильно заинтересовал тот факт, что Екатерина II вела активную переписку с Вольтером, называя себя его ученицей. По ее распоряжению была выкуплена личная библиотека Дени Дидро с условием, что он остается ее хранителем. Знаменитое книжное собрание и картины, отражающие жизнь Вольтера (например, серия работ Жана Гюбера), по сей день являются частью музейного фонда. Мне стало интересно, действительно ли до определенного момента Россия воспринималась философами просветителями как место реализации их идей, поэтому я начала читать труды различных историков, которые писали о правлении Екатерине II и о её взаимоотношениях с французскими просветителями.

Научной проблемой авторской цитаты я считаю оценку влияния французских просветителей XVIII века на личность и политику Екатерины II. Проанализировав высказывание историка, я выделила четыре задачи, которые стоит рассмотреть, чтобы полноценно раскрыть цитату.

1. Охарактеризовать эволюция политико-философских размышлений французских просветителей о России в XVIII веке.
2. Рассмотреть переписку Екатерины II с французскими просветителями.
3. Проанализировать политико-философские воззрения Екатерины II.
4. Рассмотреть влияние идей просвещения на внутреннюю политику Екатерины II.

Для начала считаю важным охарактеризовать эволюция политико-философских размышлений французских просветителей о России в XVIII веке. Поэтому, перейдем к аргументам «за» и «против» мнения О.И. Елисеевой, что внимание французских философов к России существенно возросло именно к середине XVIII века, а не раньше, или позже. В подтверждение позиции автора я могу привести следующее.

Во-первых, Россия действительно входит в центр политико-философской рефлексии именно в середине XVIII века, поскольку это было вызвано не спонтанным интересом, а кардинальной трансформацией самой России, которая вписала свои действия в хронологию и нарратив общеевропейской истории. Если в первой трети века французские авторы упоминали «Московию» лишь в этнографическом или сатирическом контексте, то после выхода «Истории Российской империи при Петре Великом» (1759–1763) Вольтера, Россия становится полноправным субъектом философии истории. Вольтер прямо заявлял, что Петр совершил «не меньшее чудо, чем Ликург или Солон», поскольку сумел за одно поколение превратить нацию, в империю, способную диктовать условия Европе. Следовательно, хронологический рубеж середины века – это не случайность восприятия, а онтологический факт: преобразования Петра I, подкрепленные военными победами России и ее вхождением в систему европейских политических альянсов, сделали невозможным дальнейшее игнорирование России как объекта философского осмысления. Ее включенность в общеевропейский дискурс была вынужденной реакцией на изменившуюся геополитическую реальность.

Во-вторых, С.Ф. Платонов в работе «Полный курс лекций по русской истории» говорил, что у просветителей действительно были все основания воспринимать Россию как уникальную

лабораторию для реализации их идей, поскольку здесь они наблюдали беспрецедентный случай создания государственности и культуры «с чистого листа» по рациональному проекту, минуя многовековой груз феодальных традиций. Переписка Екатерины II с Вольтером, а также приглашение Дидро в Петербург (1773–1774) были не просто придворным этикетом, а полноценным политико-философским диалогом. В своих письмах Вольтер прямо называл Екатерину «Северной Семирамидой» и утверждал, что «законы, которые она готовит, переживут ее и решат судьбу человечества». Философы воспринимали «Наказ» Екатерины как попытку трансплантации идей Монтескье и Беккариа на реальную почву. Для французского интеллектуала, видевшего застой старого порядка во Франции, динамика России казалась доказательством того, что просвещенный абсолютизм – это рабочий инструмент прогресса. Они верили не столько в реальную Россию, сколько в саму возможность мгновенного преобразования общества через волю монарха, и Россия служила им эмпирическим аргументом в споре с консерваторами о природе власти.

Тем не менее, необходимо отметить, что историческая реальность представлялась более глубокой и многогранной, поэтому даже в XVIII веке среди современников, имелись разные трактовки отношения России к общеевропейскому социокультурному пространству. Мы можем выделить несколько важных аргументов, которые расходятся с мнением О.В. Елисеевой.

Во-первых, тезис о «входе России в круг размышлений с середины века» глубоко ошибочен, поскольку он игнорирует наличие устойчивой антирусской традиции во французском ориентализме и правовой мысли, которая не исчезла, а лишь трансформировалась в более изощренные формы критики после 1740-х годов. Параллельно с восторгами Вольтера, в трудах Монтескье и его эпигонов неизменно воспроизводился климатологический детерминизм: Россия мыслилась как пространство «холодного деспотизма», где физическая среда предопределяет рабскую психологию народа. В «Энциклопедии» Дидро статья о России не содержала экзальтации; там акцентировались неукорененность европейских форм, раскол в религии и зависимость крестьянства. Более того, после разгрома шведского короля Карла XII, сам образ Петра I оставался двойственным: его хвалили за империю, но критиковали за то, что он «слишком насильственно» обрубил бороды, превратив свободных людей в «полицейское стадо». Следовательно, говорить о «вхождении России» как о смене парадигмы с «небытия» на «бытие» некорректно. Внимание к России возросло количественно, но качественно она осталась для просветителей «зоной исключения» примером того, как просвещение противоестественно для славянской души и северного климата. Это был не диалог, а проекция собственных страхов французского интеллектуала перед собственной же абсолютной монархией.

Во-вторых, Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского», говорил, что слова: «России как места реализации идей Просвещения» были не философским убеждением, а прагматической уловкой самого просветительского общества, которое использовало образ «доброй царицы» для получения финансовых субсидий, и этот миф рухнул сразу после первой же серьезной политической коллизии (раздел Польши или подавление пугачевщины). Практические итоги «реализации» просветительских идей в России оказались нулевыми или негативными. Дидро, проведя несколько месяцев в Петербурге, в частных беседах признавался, что его проекты (отмена крепостного права, введение выборного суда) натолкнулись на «каменную стену» гвардии и бюрократии, и Екатерина, по его словам, «прекрасно слушает, но делает по-своему». Философ вернулся во Францию с глубочайшим разочарованием, что зафиксировано в его «Антимахинвелле» (Размышления о правлении Екатерины). Настоящий шок для просветителей наступил, когда Екатерина, даровавшая «Наказ», жесточайшим образом расправилась с Пугачевым и одновременно одобрила уничтожение польской государственности, – это показало, что ее «просвещенность» – лишь риторический фантом, прикрывающий имперский экспансионизм. Таким образом, вера в Россию как в место реализации идей просветителей имела строгие хронологические рамки (примерно 1762–1770 гг.) и была возможна только на расстоянии, пока парижские салоны не видели реальной российской действительности. Как только философы столкнулись с практикой (у Дидро) или с геополитическим цинизмом (у Вольтера под конец жизни), эта иллюзия была развеяна. Реализация была не реальностью, а риторическим приемом для европейской публики, и сама Екатерина относилась к философам как к декоративному элементу своего трона, а не как к строителям нового государства.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать микровывод, что эволюция политико-философских размышлений французских просветителей о России в XVIII веке представляет собой не линейный путь «от незнания к пониманию», а сложную диалектику восторженной проекции. Середина столетия действительно вывела Россию в центр философского дискурса, но не как равноправного собеседника, а как двойственный «мысленный эксперимент»: с одной стороны – лаборатория для проверки утопии просвещенного абсолютизма, с другой – пугающий пример климатического деспотизма и несовместимости свободы с «северной природой» (Монтескье). Однако решающий водораздел пролег между теорией и практикой: заочный диалог с «Северной Семирамидой» сменился горьким разочарованием при личном контакте с Дидро и после первых геополитических демаршей Екатерины. В итоге Россия осталась для французов не объектом познания, а зеркалом их собственных тревог и надежд: её образ использовался для критики Старого порядка во Франции, но при столкновении с реальностью миф о «реализации просвещения» рухнул, обнажив пропасть между риторикой философов и цинизмом имперской политики.

Далее перейдём к следующей исследовательской задаче и проанализируем, действительно ли Екатерина поддерживала подобное представление? Многие факты исторической действительности XVIII века подтверждают этот тезис.

Во-первых, Екатерина II целенаправленно и осознанно поддерживала представление о себе как о «просвещенной монархине» через публичную демонстрацию переписки с философами, используя её как инструмент внешнеполитической пропаганды для легитимации Российской империи как европейской державы. Переписка с Вольтером, начавшаяся в 1763 году, носила подчеркнуто публичный характер, она афишировалась, обсуждалась в салонах и была нацелена на формирование благоприятного образа России. Вольтер называл Екатерину «Великим мужем» и «Северной Семирамидой», а императрица позиционировала себя как его ученицу. Исследователи прямо указывают: и Вольтер, и Екатерина «всячески афишировали свою переписку». Приглашение Дидро в Петербург в 1773–1774 годах, как и предложение издавать «Энциклопедию» в России, также были публичными жестами, демонстрировавшими приверженность императрицы идеалам Разума. Однако поддержка этого представления была сугубо инструментальной: Екатерина использовала философов как «интеллектуальный щит» для прикрытия своих имперских амбиций. Пока Вольтер из Швейцарии славил её победы над Турцией и «освобождение» Греции от «тьмы», сама императрица в секретных рескриптах формулировала сугубо прагматичные геополитические цели. Это была не философская убеждённость, а политическая технология.

Во-вторых: А.Н. Чистозвонов в статье «О характере связей „Наказа“ Екатерины II с трудами французских просветителей» говорит, что Екатерина действительно демонстрировала приверженность идеям Просвещения на уровне законотворчества, в частности, в «Наказе» Уложенной комиссии, где она прямо заимствовала и адаптировала просветительские концепции, что подтверждало восприятие её как проводницы идей французских мыслителей. Около 350 из 655 статей «Наказа» были заимствованы из «Духа законов» Монтескье и трактата Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Сама императрица в частной переписке называла книгу Монтескье своим «молитвенником» и признавалась, что «обобрала президента Монтескье на пользу моей империи». В «Наказе» декларировались новые для России принципы: презумпция невиновности, недопустимость жестоких наказаний, разделение судебной и законодательной властей. Тем не менее, эта поддержка была строго дозированной и селективной. Екатерина отбрасывала из просветительских доктрин всё, что угрожало самодержавию. У Монтескье она взяла тезис о необходимости «промежуточных властей», но заменила дворянство (которое у Монтескье ограничивало монарха) бюрократическими учреждениями, полностью ей подконтрольными. Она считала идеи конституционной монархии и разделения властей «неполезными» для России, поскольку самодержавие считала единственно эффективной формой правления. Иными словами, она брала у просветителей лишь то, что служило украшению абсолютизма, но не его ограничению.

С другой стороны, Василий Алексеевич Бильбасов в своей монографии «Дидро в Петербурге» пишет, что «Поддержка» представления о себе как о просвещенной монархине была фасадом, который рухнул при первой же проверке реальной политикой – пример Дидро,

увидевшего подлинную Россию и вернувшегося разочарованным. Дидро, посетивший Петербург в 1773–1774, с энтузиазмом обсуждал с императрицей проекты политических реформ, но быстро осознал пропасть между риторикой и реальностью. Он сокрушался, что в России «нельзя дать почувствовать господам злоупотребление рабством, ни рабам – преимущество свободы, настолько одни деспотичны, а другие отуплены». Позже Дидро пришел к убеждению, что идея «просвещенного деспота» – оксюморон. Екатерина же, по его словам, как уже говорилось выше, «прекрасно слушает, но делает по-своему». Таким образом, Екатерина поддерживала лишь декоративное, дистанционное Просвещение – в виде писем в Париж, но не в виде реальных преобразований в России. Как только философ пересекал границу и переходил от теории к практике, эта «поддержка» мгновенно испарялась, обнажая непреодолимую стену между просветительским идеалом и самодержавной реальностью. Иллюзия рассеивалась при столкновении с действительностью.

Во-вторых, окончательным и неопровержимым доказательством фиктивности «поддержки» просветительских представлений стал разрыв Екатерины с идеями Просвещения после Французской революции 1789 года, когда она не только дистанцировалась от философов, но и перешла к открытой реакции внутри страны. Если в 1760–1770-е годы Екатерина охотно использовала имена Вольтера и Дидро, то после событий во Франции она резко меняет курс. Французская революция, вдохновленная идеями, которые она сама пропагандировала, вызывает у императрицы страх; она называет Париж «притоном разбойников». Внутри России разворачиваются репрессии против вольнодумства: арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость Николай Новиков, а Александр Радищев сослан в Сибирь за «Путешествие из Петербурга в Москву». Как отмечают историки, «легенда о просвещенной монархии в России заканчивается в 1789 году». Следовательно, вся предшествующая «поддержка» просветителей была не более чем тактическим ходом, который Екатерина отбросила, как только увидела практические последствия их идей в виде революционного насилия. Её истинное лицо – не ученицы Вольтера, а самодержицы, для которой Просвещение было лишь модной декорацией, проявилось в полной мере именно в этот переломный момент. Переписка с философами была эпизодом, а реакция 1790-х – итогом её правления.

Таким образом исходя из всего вышесказанного можно говорить о том, что Екатерина переписывалась с философами не потому, что верила им, а потому, чтобы создать себе выгодный образ в Европе. Она брала только те идеи, которые не мешали её самодержавной власти. Как только во Франции началась революция (1789), она сразу показала своё истинное лицо: вместо разговоров о свободе – тюрьмы для Новикова и ссылка для Радищева. Вольтер и Дидро были для неё просто красивой «вывеской», а не учителями. Философия – для публики, реальность – для власти.

В связи с этим вышеупомянутым моментом, считаю важным рассмотреть следующую часть утверждения О.И. Елисеевой. А именно её мнение о том, что Екатерина и сама осознавала себя ученицей французской философии. Исследуя личную переписку и внутреннюю политику императрицы, во-многом, можно согласиться с этим суждением. Так, А.С. Орлов в работе «Екатерина II и французское Просвещение» пишет, что в переписке с Вольтером (1763–1778) Екатерина прямо именуется себя его «ученицей» и «воспитанницей», называя французских энциклопедистов «властителями дум». Она настаивает на литературной правке своих манифестов философами и отправляет им свои сочинения на рецензию. Для политика эпохи раннего Нового времени публичное признание интеллектуального субордината перед живущими современниками – беспрецедентный акт. Это исключает бессознательное влияние: Екатерина рефлексивно проецировала себя в поле французского Просвещения, видя в этом не слабость, а знак легитимности «просвещенной государыни» против «невежественных» европейских дворов. Также стоит отметить, что в «Наказе» Уложенной комиссии (1767) прямая компиляция из «Духа законов» Монтескье и «О преступлениях и наказаниях» Беккариа, составляет до 70% текста, включая тезисы о разделении властей (в ограниченной трактовке) и презумпции невиновности. Императрица лично правила каждую главу, сверяясь с первоисточниками. Екатерина воспринимала философский текст как источник позитивного права для варварской страны. Это не плагиат, а сознательная трансплантация: она осознавала себя не просто читательницей, а экзегетом, адаптирующим просвещенческую норму к русской почве. Без этого осознания

невозможна столь филигранная работа с первоисточниками. В свою очередь, вопреки рекомендациям Беккариа о гуманности наказаний, за время екатерининского правления число смертных приговоров (включая внесудебные расправы над пугачевцами) исчислялось сотнями, а пытки не были отменены официально. При этом Императрица публично хвалилась перед Дидро отменой смертной казни (которой по факту не было с 1754 г., но как высшая мера она применялась военными судами). Такая инверсия сигнализирует о том, что философия служила Екатерине не эпистемическим ресурсом внешней политики, а не внутренним регулятивом совести. Если бы она осознавала себя ученицей в онтологическом смысле, ценностная картина мира требовала бы отказа от телесных наказаний как базового принципа. Но она четко отделяла «идеи» от «управления».

Во-вторых, Николай Чечулин в своей монографии «"Наказ" Екатерины II, в особенности его происхождение и влияние» говорил, что Екатерина сознательно изъяла из «Наказа» все статьи Монтескье о естественном праве и равенстве сословий, а также критиковала Дидро за атеизм и материализм «Энциклопедии», называя это «опасным для умов». В конце жизни она писала, что Вольтер «посеял слишком много революционного». Просвещение для нее было не философским мировоззрением, а политической эстетикой. Она осознавала себя ученицей только в рамках нормативной этики (как должно править), но категорически отвергала гносеологию и антропологию французов. Это селективное ученичество – признак не ученика, а заказчика, использующего философию как декорацию для самодержавной аксиологии. Истинное осознание ученичества требует принятия системы, а не ее фрагментов. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Екатерина осознавала себя ученицей ровно настолько, насколько это позволял ее политический тезаурус.

Наконец, перейдем к четвертой, заключительной исследовательской задаче и рассмотрим, действительно ли Екатерина поддерживала «подобное представление»? В подтверждение этого тезиса следует отметить, что ряд политических шагов Екатерины II был напрямую продиктован просветительской теорией «общего блага» и стремлением рационализировать управление огромной империей, что нашло своё выражение в попытке кодификации законов и пересмотре уголовного права. В 1775 году была проведена губернская реформа, внедрившая выборные элементы в судопроизводство (совестные суды, сословные заседатели) – институты, явно вдохновленные просветительской идеей участия общества в отправлении правосудия. Данные шаги бесспорно демонстрируют прямое влияние просветительских идей, но это влияние было трансформирующим: Екатерина адаптировала западные теории к российским реалиям, используя их не для ограничения своей власти, а для её рационализации и гуманизации витринных сторон правосудия.

Во-вторых, Сергей Карп в своей монографии «Французские просветители и Россия», отмечал, что просветительская вера в силу «просвещенного абсолютизма» как двигателя общественного прогресса объективно повлияла на политику Екатерины в сфере образования и культуры, где она предприняла беспрецедентные шаги, не имевшие аналогов в предшествующей российской истории. В 1764 году был основан Смольный институт благородных девиц – первое в России женское учебное заведение, созданное по образцу французских пансионов и напрямую курировавшееся императрицей. В 1786 году был издан «Устав народных училищ», учредивший систему двухклассных и главных народных училищ в губерниях – по сути, первую в России сеть светских начальных школ, доступных (теоретически) для всех свободных сословий. Сама Екатерина писала, что «образование есть основа государственного благополучия», и активно переписывалась с Дидро по вопросам педагогики. В данном случае просветительский идеал распространения знаний оказал реальное, хотя и ограниченное ресурсами, воздействие на внутреннюю политику. Однако и здесь прослеживается прагматизм: образование внедрялось не для формирования «свободных граждан», а для воспитания верноподданных, способных эффективно служить государству. Тем не менее, сам факт создания государственной школьной системы вне церковного контроля – прямое следствие просветительского мировоззрения, даже в его утилитарной интерпретации.

С другой стороны, Александр Лаппо-Данилевский в своей монографии «Очерк внутренней политики императрицы Екатерины II» писал, что определяющие политические шаги Екатерины, в первую очередь в сфере социальной структуры, были продиктованы не просветительскими

идеалами, а сословными интересами дворянства и имперскими фискально-административными задачами, что прямо противоречило просветительской критике крепостничества. Жалованная грамота дворянству (1785) не просто закрепила, а расширила сословные привилегии, освободив дворян от телесных наказаний, от обязательной службы и предоставив им корпоративные права – при том, что именно в эти годы положение крепостных крестьян ухудшилось катастрофически: Екатерина раздала около 800 тысяч государственных крестьян в частные руки, ужесточила указы о сыске беглых и запретила крестьянам жаловаться на помещиков. При этом в «Наказе» она прямо писала о недопустимости жестокого обращения с крестьянами, но на практике полностью проигнорировала проблему крепостного права. Это ключевое противоречие обнажает истинную природу её политики: Просвещение было для неё риторическим фасадом, который она не распространяла на основу социального порядка. Если бы её шаги действительно были продиктованы просветительскими взглядами, она неминуемо должна была бы начать ограничивать крепостничество – как это делали её современники-философы. Однако она не только этого не сделала, но и усилила крепостной гнёт, показав, что сословно-корпоративные интересы доминировали над просветительскими убеждениями.

Также отметим, что внешняя политика и военно-административные реформы Екатерины не содержали просветительского компонента и велись в логике классического имперского экспансионизма, что доказывает вторичность идей Просвещения по отношению к геополитическому прагматизму. Три раздела Польши (1772, 1793, 1795), Русско-турецкие войны за выход к Чёрному морю и присоединение Крыма (1783) проводились исключительно исходя из имперских интересов и баланса сил в Европе, без какой-либо просветительской риторики в официальных дипломатических документах. Военная реформа Потемкина и централизация власти на местах были продиктованы военно-стратегическими задачами. Даже в разгар «дружбы» с Вольтером Екатерина в секретных рескриптах формулировала чисто прагматичные цели раздела Польши, используя философскую риторику лишь для постфактумного оправдания. Таким образом, если внутренняя политика в узкой сфере образования и права ещё несла отпечаток просветительского начала, то внешняя и военная политика была полностью свободна от какого-либо философского влияния. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что просветительские идеи оказали реальное, но строго ограниченное влияние на политику Екатерины II. Они прослеживаются в сфере уголовного права, образования и судебных процедур – там, где их внедрение не угрожало самодержавию и крепостничеству. Однако все ключевые решения: социальная структура, крестьянский вопрос, территориальная экспансия – определялись исключительно имперским прагматизмом и сословными интересами.

Итак, подробно проанализировав все поставленные задачи, мы можем сделать полноценный вывод о том, что суть суждения О.И. Елисеевой подтверждается многими реальными фактами XVIII века; с ним в целом можно согласиться, при этом сделав ряд уточнений и фундаментальных оговорок. Позиция историка верна с теоретической точки зрения, но во многих практических моментах глубоко неоднозначна, особенно при анализе реальных мотивов и практических результатов политики Екатерины II. Однозначно можно согласиться с автором цитаты в том, что просветители XVIII века оказали влияние как на внутреннюю политику, так и на личность императрицы, вопрос лишь в глубине и степени этого влияния. Так реальные «дела» Екатерины показывают, что просветительские идеи действительно были внедрены в отдельных отраслях государственной жизни, особенно – в сфере образования и культуры. Тем не менее, базовые фундаментальные принципы сословно-феодального строя остались нетронутыми. Это коррелирует и с самими идеями Екатерины, которые были впитаны императрицей лишь отчасти, так сказать, «для внешнего наблюдателя», что ярко проявляется как в событиях истории, так и в личных взаимоотношениях с просветителями. Поэтому и сама переписка императрицы с философами, и их воззрения на Россию и её роль в Европейской жизни и истории, нуждаются в дополнительном и глубоком изучении специалистами, ввиду крайне противоречивого характера реальной действительности второй половины XVIII века.